

К 84  
М 22

Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК

ДЕТСКИЕ  
РАССКАЗЫ





74646

ССБД и Ю  
дел хранения

УЧБ. АБОНЕМЕНТ СТ. КЛ.

~~О. б.  
отдел обслуживания  
чит. старшего возраста  
АБОНЕМЕНТ~~

93

а











К84  
М92

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

# ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ

Степан



Детская Центральная Библиотека  
г. Свердловск  
МОЛОТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1951



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
Емеля-охотник . . . . .	3
Зимовье на Студёной . . . . .	13
В глуши . . . . .	32
Вертел . . . . .	48
Богач и Ерёмка . . . . .	59
Приёмыш . . . . .	78

Художник — *В. В. Каменский*  
 Тех. редактор — *Е. В. Камшилова*  
 Редактор — *Н. Н. Арбенева*

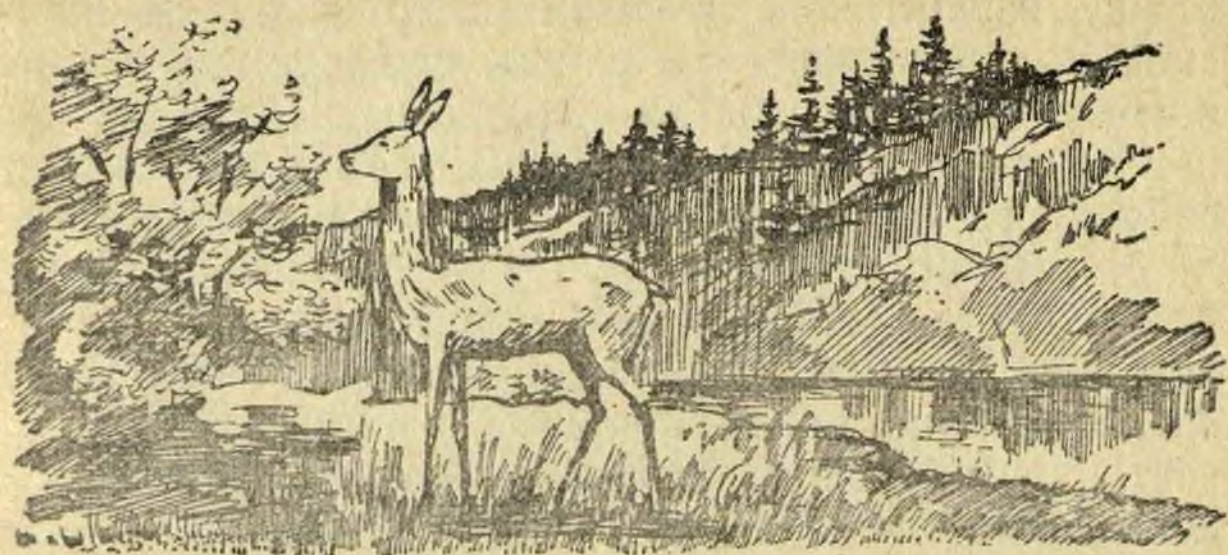
---

Формат 60×84. ЛЕ06401	Подписано к печати Объем 5,5 печ. л. Тираж 25 000 экз.	1951 г. Авт. 3,3 л. Уч.-изд. 3,5 л. Цена 1 руб. 75 коп
--------------------------	--	---

---

8-я тип. Росполиграфпрома.  
 Гор. Молотов, ул. Коммунистическая, 57.      Зак. 928.





## ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

### I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши, спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечно зелёный хвойный лес. Из-за вершущек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьева гора с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето поит всех студёной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а



между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка совсем отделяется от всего остального мира непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в неё едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадёт в них.

Все тычковские мужики записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, сохатых, куниц, волков, лисиц, осенью — белку, весной — диких коз, летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжёлая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живёт старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном, крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не бывало у емелиной избушки. Только под крыльцом из неотёсанных брёвен воет по ночам голодный Лыско, одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля три дня морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко... — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят, дедко?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.



— Вот бы, дедко, телёночка добыть... а?

— погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и телёночка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке было всего лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под тёплой оленьей шкурой. Мальчик простудился ещё весной, когда таял снег, и всё не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались большие, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку чёрного хлеба и только. Оставалась от весны солёная козлятина, но Гришук и смотреть на неё не мог.

„Ишь чего захотел: телёночка, — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть.— Ужо, надо добыть“.

Емеле было лет семьдесят, — седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он ещё бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику на тёплую печку, да заменитья некем, а тут вот ещё Гришутка на руках очутился, о нём нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером



возвращалась из деревни в свою избушку. Ребёнок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребёнка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внука, а тут ещё болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

## II

Стояли последние дни месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома остались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голоду, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался,— говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нём были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и тёплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня,— говорил Емеля внуку на прощанье.— За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за телёнком схожу.

— А принесёшь телёнка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Жёлтенького?..

— Жёлтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да всё жалел бросить внука одного, а теперь ему было как-будто



лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчиком, — всё же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродит по нему с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы, — всё знал старик на сто вёрст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далёкие горы.

Да, чудно, хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шёл, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые берёзки, кусты жимолости и зелёным шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зелёной щёткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте с половины горы открывался широкий вид на далёкие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда чёрными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи... — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказания. Он отлично знал своё дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зелёной чаще. Только



на время мелькнула его спина с жёлтыми пятнами.  
Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый тесный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжёт желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растёт, и Емеля шёл по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брёл охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или пролетит пёстрый дятел. Емеля внимательно осматривал всё кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. „Вероятно, оленей распугали другие охотники“, — думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал...

Это был олень, настоящий десятирогий красавец-олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зелёной чаще.

Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеетдохнуть в ожидании выстрела, он слышит оленя, чувствует его запах...

Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понёсся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость,



которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо телёночка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передних лап. На её долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

### Ш

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском, и всё напрасно: оленя с телёнком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля всё видел жёлтенького телёночка, о котором его просил Гришук: старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носа. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвёртый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно попали на след оленя с телёнком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

„Матка с телёнком“, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром была здесь... Лыско, ищи, голубчик!..“



День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот — знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелится. В ушах Емели стоят слова внука: „Дедко, добудь телёнка... и непременно, чтобы был жёлтенький...“ — Вон и матка... Это был великолепный олень — самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

„Нет, ты меня не обманешь“, думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

„Это матка меня от телёнка отводит“, думал Емеля, подползая всё ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова пополз с своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдёт от телёнка, — шептал Емеля, торопливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося оленёнка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь всё равно она не уйдёт от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собой мать! Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом.

Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости стоял тот самый жёлтенький телёнок, за которым он бродил целых



три дня. Это был прехорошенький оленёнок, всего нескольких недель, с жёлтым пушком и тоненькими ножками, красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперёд, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвёл курок винтовки и прицелился в голову маленькому животному...

Ещё одно мгновение, маленький оленёнок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком, но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала телёнка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своим телом... Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Оленёнок по-прежнему ходил около куста, ощипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул,—маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь, какой бегун...— говорил старик, задумчиво улыбаясь.— Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш оленёнок-то!— Ну, ему, бегуну, ещё надо подрасти... Ах ты какой шустрый!

Старик долго стоял на одном месте и всё улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принёс телёнка?— встретил его Гриша, ждавший всё время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Жёлтенький?

— Жёлтенький сам, а мордочка чёрная. Стоит под кустиком и листочки ощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук, пожалел... малого зверя... матку пожалел. Как свистну, а он, телёнок-то, как стреканет в чашу—только его и видел. Убежал, пострел этакий...



Старик долго рассказывал мальчику, как он искал телёнка по лесу три дня, и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе со старым дедом.

— А я тебе старого глухаря принёс, Гришук, — прибавил Емея, кончив рассказ. — Этого всё равно волки бы съели.

Глухарь был ошипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухаринной похлёбки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, оленёнок-то?

— Убежал, Гришук...

— Жёлтенький?

— Весь жёлтенький, только мордочка чёрная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького жёлтого оленёнка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

---





## ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ

### I

Старик лежал на своей лавочке у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо ещё с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал, так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапание в дверь, — это просился Музгарко, небольшая, пёстрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!.. — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. — Ты у меня поцарапайся!..

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.



— Ах, штоб тебя волки съели! — обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошёл к двери, отворил её и всё понял — отчего у него болела спина и отчего завывала собака. Всё, что было можно рассмотреть в приотворённую дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега всё видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом.

Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, горящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!.. — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко! Прокатилось наше красное лето, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал лёгкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. — Не нравится, а?

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопчённые брёвна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом.



Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжёлых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырём, едва пропускало свет.

Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпению бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись, — ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. — Успеешь...

Музгарко лёг и, положив остромордую голову на передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит, — объяснил старик собаке на ходу. — Оно и вышло, что к ненастью. Вона, как снежок подваливает...

За одну ночь всё кругом совсем переменялось: лес казался ближе, речка точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землёй и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще, вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю.

Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кусты-



ками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось вёрст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь выросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил на неё, опёрся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик, — погоди, может и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперёд, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть, действительно, огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперёк реки бечевы с поводками из тонких шнуров и волосяной леси. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей.

Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвёл её к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу. — А ловить не умеешь... Погоди, сварим сегодня уху. К ненастью рыба идёт лучше на крюк... В омуте теперь она сбивается на зимнюю лежанку, а мы её из омута и будем добывать: вся



наша будет. Лучить ужю поедем... Ну, а теперь айда домой! Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим..

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму, в роде колодца — эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только нехватало у него соли, чтобы её солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придёт, — объяснял старик собаке. — Привезут нам с тобой хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик всё время проводил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному всё равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может перебыюсь зиму, — думал старик вслух, постукивая топором в стену. — А вот обоз придёт, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чём подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове „обоз“ смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придёт обоз-то, — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней



непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых, пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжёлой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер! — даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в тёплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избышки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени.

О чём думал старик? Первый снег всегда и радовал и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вот за теми горами, из которых выбегала река Студёная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привёл бог кончить век: умрёт — некому глаз закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать.

Одна отрада осталась — собака. — И любил же её старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была всё, и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко, — говорил старик, глядя собаку по спине. — Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки! Пора, видно, нам с тобой и помирать.

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала.

А он сидел и всё смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зелёной стеной уходивший на сотни



вёрст туда, к студёному морю, на чуть брез жившие горы в верховьях Студёной, смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжёлой стариковской думой.

Вот о чём думал старик.

Родился и вырос он в глухой деревушке Чалпан, засевающей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском краю, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы на Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме. Старик тогда был совсем молодым, а звали его по деревне Елеской Шишмарем — вся семья была Шишмари.

Отец промышлял охотой, и Елеска с ним, ещё мальчиком, прошёл всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, — что попадёт. Из дому уходили недели на две, на три.

Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам попрежнему промышлял охотой. Стала потихоньку подрастать своя семья — два мальчика да девочка; славные ребятишки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушёл с артелью других охотников в горы за оленями. Ушёл он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился. Поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой.



В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска.

Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошёл он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитывал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз на медведя выходил с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплхнул — поскользнулась у Елески одна нога, и медведь напал на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо его сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь знахарь лечил его целых полгода: остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах вёрст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками, одним словом, пришла беда неминуемая. В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь отыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке, с Колвы на Печору? — спрашивали его промышленники. — Там на реке Студёной зимовье, так вот тебе быть там сторожем. Вся работа только — зимой встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промышлять можешь. Одним словом, не жисть тебе будет, а масленица.

— Далеконько, ваше степенство... — замялся Елеска. — Во все стороны от зимовья вёрст на сто жилья нет, а летом туда не пройдёшь.

— Уж это дело твое, выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить.

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали



ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать всё на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовье. Так он и жил в лесу. Год шёл за годом. Елеска состарился и боялся только одного: что придёт смертный час и некому будет его похоронить.

## II

До обоза, пока реки ещё не встали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что всё равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шёл крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студёной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать вёрст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал выводки рябчиков, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что рябчик был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать ещё до прихода обоза и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студёной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли, — объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. — А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обрабатываем... Главное — соли добыть побольше. Ежели бы у нас



с тобой соль была, так богаче бы нас не было, вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: „Ах, кабы соль была,—не житье, а рай“.

Теперь он рыбу ловил только для себя, а остальную сушил, — какая цена такой сушёной рыбе. А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, получал бы за неё вдвое больше, чем теперь, но соль стоила дорого, а запастись её приходилось бы пудов по двадцати, — где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду. Особенно жалел старик, когда летним делом в петровки убивал оленя: свежее мясо портится скоро, — два дня поест оленины, а потом бросай. Сушёная оленина — как дерево.

Стала и Студёная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лёд везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придёт.

Собственно, хлеб у старика вышел ещё до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки голчёную сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьёт, что потом в рот не возьмёшь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привыкли, а русский человек — хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришёл совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели везы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли? Принимай гостей... Давно не видались!..



Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих жданных гостей. Обыкновенно, он чуял их, когда обоз был версты за две, а нынче не слышал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты не умер ли? — удивлялся старик. — Проспал обоз... Ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял, — заметил с грустью старик. — И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других — шла дорогая печорская сёмга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормёжек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованные, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить воза в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студёной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормёжки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах мёртвым сном. Не спал



только молодой приказчик, ещё в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал:

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться? Привычное наше дело. В лесу выросли...

— Да как же не бояться: один в лесу...

— Да у меня пёсик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперёд сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама подманивает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья. Умнеющая собака, — только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься.

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей. Была у меня собака, ещё с Колвы привёл. Ну, ничего, правильный пёсик: и зверя брал, и птицу искал, и белку, — всё как следует. Только иду с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он так смотрит на меня, умненько таково, а сам ведёт всё дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привёл! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар. Подхожу. В шалашике вогул лежит, — болен, значит, и от своей артели отстал. Пряменько сказать: помирает человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждять. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уже языком ворочает. Больше всё руками объяснил. Вот он меня и благословил этим пёсиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок



хворостом да бревном придавил сверху, чтобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный пёсик... По лесу идёт, так после него хоть метлой подметай, — ничего не найдёшь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нём говорят. Всё понимает.

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранил: медведь-то на меня, а он его и остановит. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда ещё в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато.

Славный этот приказчик, молодой такой, и всё ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и всё рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу:

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с тёплого моря птица прилетит. И сколько её летит: туча... По Студёной-то точно её насыпано... Всякого сословия птицы: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдёшь на заре, так стон стоит по Студёной. И нет лучше твари, как перелётная птица. Большие тыщи вёрст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денёк и сейчас гнездо налаживать. А я хожу и смотрю. И как наговаривают! Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймёт. Любезная тварь — перелётная птица... Я её не трогаю. А когда гнёзда



она сртоит, это ли не божецкое произволение? Человеку так не сооритить. А потом матки с выводками на Студёную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Несчерпаемо здесь перелётной птицы. Праздником всё летечко прокатится; а к осени начнёт птичка грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стайей летит. На Студёной всё околачиваются... Плавают, плавают, пока береги застынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, всё равно сгибнет. Лебеди у меня тут в болоте гнёзда вьют. Всякой твари свое произволение, свой предел... Одного только у меня нехватает, родной человек, который год прошу ямщиков, чтобы петушка мне привезли.. Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скушно, когда по зимам мёртвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил... Тоже не простая тваринка, петушок-то: другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворён.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старику Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привёз подарок.



— Я тебе часы привёз, дедушка, — весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка, — весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями. — Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня да и заворожили... Ну, оставайся с богом!

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушёл обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький — ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью, как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска собаку. — Только твоего и ремесла, что лаять. А вот ты по-петушину спой!

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит. Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положив голову между лапами, и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатила беда неожиданная. А Музгарко всё лежит, не ест, не пьёт и голосу не подаёт.

— Музгарушко, милый!

Вильнув хвостом, Музгарко подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..



### III

Ходит ветер по Студёной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, а избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба да въётся из неё синяя струйка дыму...

Воет пурга уже две недели. Две недели не выходит из своей избушки старик и всё сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой... — плачет старик и целует верного друга. — Родной ты мой... Ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почувствовал свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось...

С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная голодная смерть. Хлебного припасу едва хватит до Крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки? А тут ещё волки... Учуяли беду, пришли к избушке и завывали. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их. Облаять, подманить на выстрел.

Вспоминался старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые во-время не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь. Вот и повадился медведь к избушке, учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на



крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прынул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а елескина пуля не знала промаха.. Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым Рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке. Музгарко лежал мёртвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко,—повторял несчастный старик, целуя мёртвого друга.—Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели Музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Оставался один петушок, который попрежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок птица занятая, а все-таки птица, и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко!—повторял Елеска по несколько раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, пора было Елеске подумать о своей



голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынь проберусь, — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошёл старик до каменного мыса, оглянулся на свое жильё и заплакал: жаль стало насиженного, теплого угла.

— Прощай, Музгарко...

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студёной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати вёрстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С усталости он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

„Волки“ — мелькнуло у него в голове.

Хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей залаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе, — это он по следу нижним чутьём идёт. Вот уж совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит, действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.



— Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеется. — Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мёртвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.

---





## В ГЛУШИ

### I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать.

Издали Шалайка была очень красива, особенно, если смотреть с реки, — избы стояли на самом солнышке, как крепкие зубы, и какие были избы!.. Одна другой лучше, благо, лес был под рукой и обошёл деревушку зелёной зубчатой стеной.

Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные, и земля дает плохой урожай. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям или мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну гро-



мадную семью, связанную родственными отношениями.

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно было видеть разлив реки Чусовой вёрст на пять. Сейчас же за рекой шёл нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончается, точно деревня стояла на краю света.

Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Все шалаевцы любили свою деревню; когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом со слезами. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми...

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. — О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... Не велика радость!..

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку? Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а с женатыми братьями солдат не ладил.

Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно всё, рассказывал даже лучше бабушки Акулины, которая знала только сказки да „про старину“. Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников осталось всего двое: отец — Егор да второй брат — Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уж



не мог идти за работника, потому что жил в лесу и домой редко приходил. Бабы в счет не шли. Мать Авдотья управлялась по дому, а старшая сестра Домна была „не со всем умом“.

С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень, и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали, искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уже на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подаёт. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой, еле живую. С тех пор Домна и стала „не со всем умом“. Все молчит, что ей ни говорят. Работать — работала, когда мать заставляла, а так, — все равно, что дитя малое. Деревенские ребяташки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет!..

Стоило сказать ей это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась очень страшной. Кроме Домны были еще ребяташки, но те совсем еще малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки — тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Пимки — Егор принял его на работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты, и сплавляли брёвна на нижние пристани. Работа была не лёгкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали.

Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмёшь меня в курень?

— погоди, твоё время еще впереди. Пимка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок.



И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же сделается большим. До куреня считали верст тридцать и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето.

В Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из „чужестранных“ людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже „ясачил“ в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора.

Пимка, лежа на полатях, любил послушать охотничьи разговоры, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки.

Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ноги, что дедушка остался хромым на всю жизнь.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода поднималась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно всё на свете и называл какие-то мудрёные места куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живёт, — объяснял он Пимке. — И все покупают, что ни привези... И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.



Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал: — Ну, Пимка, собирайся в курень. Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был рад и вместе с тем побаивался: в курене были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему „мужику“ всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, собачью „ягу“, пимы, собачьи „шубенки“, такой же треух, шапку, — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету; и мужиков спасал только теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь в Боровской завод. Редкий не отморазивал себе щек и носа. Мать жалела Пимку и на проводидах всплакнула:

— Ты, смотри, Пимка, не застудись... В балагане будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка! — весело отвечал Пимка. — Я с Акинтичем буду жить, а он всё знает... Мы еще медведя с ним залобуем.

— Ладно, вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим, — объяснял отец. — Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? Дед тебе обрадуется... Старый да малый, — и будете жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоя-



шему. Ехали в большом угольном коробе, сплетённом дедушкой Титом из черёмуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул берёзовые полозья для саней, дуги и плёл коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности: мужикам топорища, бабам — корыта и вальники, — все нужно. Лес только ещё был запушён первым снегом. Дремучие ельники стояли стена-стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадьё и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли наделал по снежку... Ах, прокурат... Такие узоры проведёт, что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как барыня, идёт и след хвостом замечает.

В одном месте Егор остановил лошадьё, долго рассматривал след и объяснил:

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного... Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смешливый зверь...

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать. Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать, пусть его по следу ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить



издали по зареву, которое поднималось над горевшими „кучонками“, то есть кучами из длинных дров-долготья, обложенными сверху дёрном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит.

Еще издали гостей встретила лаем пёстрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай из всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай.

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипящим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь,— говорил он.— Что — озяб?.. погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собою большую низкую избу без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полаты на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери, в углу, был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы на крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыма. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощение?— шутил Акинтич.— А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке...

Старый Тит ужасно был рад внуку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась



в желтую, но он ещё держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и токовали застужённые ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник, — галдели набравшиеся в балаган мужики. — Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги, благодаря жизни в курных балаганах, походили на трубочистов. Все равно, мойся, не мойся, а от дыма и сажи не убежишь. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, как кто мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же уснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать, — шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. — Вот мы тут зелёного пуху настелем, спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенёс на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики. — Это он намёрзся дорогой-то, да прямо в тепло попал, ну, и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь в очаге; а только огонь гас, — всё тепло уходило частью кверху, в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь.



Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит до тла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко или страшно холодно.

Работа в курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной до трёх сажен. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнём, вернее — не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова.

У каждого кучонка был свой „жигаль“, который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дёрн, и тогда весь уголь сгорал. „Жигали“ не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем не рисковал и углевоз тоже, а „жигаль“ отвечал за всё. В „жигали“ поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был ещё долго „отдыхать“, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит „ходил в жигальях“ лет сорок, а теперь его заменил его сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку „Жигалёнком“.

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, заку-



сывали, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжёлая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган как пьяные, — до того они вымывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда тёмных балаганах, да и еда была самая плохая: чёрный хлеб да что-нибудь горячее в придачу, большею частью каша. Где мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь, — ворчал солдат Акинтич, отвыкший за время своей солдатчины от тяжёлой куренной работы. — Брошю всё и уйду, куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани... Весь точно из трубы сейчас вылез!

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отпраивлялся в деревню: поехал, значит, и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил всего несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить, куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

### III

Самое тяжёлое время были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку, „на обыденку“, но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперёд нужно было сделать вёрст шестьдесят, да ещё плохой лесной дорогой. В праздник все убивали время как-нибудь. Сидеть днём по тёмным балаганам было тошно, и все собирались „на улице“. Разведут



большой костёр, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказывать разную побывальщину.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат, — упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видели, вот вам и кажется, что всё удивительно. Возьмите теперь хоть пароход — во, какая махинища! Народу на ём едет человек с тыщу, а он ещё с собой не одну барку волокёт. Всю Шалайку свезёт за раз... А то теперь чугунок. Ну, тэ ещё мудрёнее: как свистнет — и полетела. Тоже волокёт народу видимо-невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошко поглядываешь, тоже, как в избе. Не успел оглянуться, а она уже опять свистнула, — значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунок, — в один бы час с куреня махнули туда, а теперь вы с углем ползёте все шесть часов да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь!

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врёт, особенно, когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные мужики иногда, для шутки, начинали высмеивать солдата.

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился, и все хохотали.



— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить... Уйду в город ч поступлю дворником к купцу. Работа самая лёгкая, подмёл двор, принес дров, почистил лошадь — вот и всё. В баню хоть каждый день ходи... Одежда на тебе вся чистая, а еда — доотвалу. Шти подадут, — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая... китайская...

— Может, крупы там или говядины прибавляют?

— И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ. Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, куда вам... Тоже вот взять лампу, — вы и не видывали, а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему, — плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазин называется, ну, фитилёк спущен, по-вашему — светильня; ну сейчас спичкой, — и огонь! А главная причина — можно свет-то прибавлять и убавлять, не то, что в свече сальной... Поняли теперь?

— Грешно все это... — говорил дедушка Тит. — Напьюсь это я твоего чаю, наемся штей да каши, поеду я на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от чёрной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка, — говорил солдат. — Есть каменный уголь, из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат, солдат... Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыслие, а главным образом за то, что избаловался



он на службе и очень уж любил про лёгкую жизнь рассказывать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, что в городе все трубки курят, да ещё и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врёт всё... — не верил дед. — Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что труд надо любить. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-своему, потому и гнездо надо устроить, и своих детёнышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка, — объяснял солдат. — Только там работа чище нашей... Не меньше нас работают, а может и больше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситца, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И всё это пустое! — сказал дед. — Раньше без ситцев жили, а сукно бабы дома ткали. Всё это пустое. Главный же мастер всё-таки мужичок, который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное всё пустое баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть... Может быть, солдат-то и не врёт. Вот он рассказывает, что есть места, где зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом будет с хорошую баню.

Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мёртвым сном. Стоял страшный мороз и даже собаки забились в балаганы.

Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него



было своё ворчание на зверя и своё — на человека, — теперь он ворчал на человека.

Скоро слышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел партию вместо Шалайки на курень.

Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил наибольшего в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. Сейчас огонёк разведём, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз ещё видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря. Его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся. Наибольший барин всё-таки сердился, сердился на всё: и на то, что всё в балагане было покрыто сажей, и на дымивший очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым, — наговаривал Акинтич, — и опять, того, страшный мороз... Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал наибольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве бывал. Да... А здесь, уж извините, — одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то есть съел несколько листочков и убедился, что солдат не врал. Ничего сладкого, а так трава как трава, только чёрная.



Рано утром партия отправилась дальше. Теперь её уж повёл Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается... — ворчал дедушка Тит, качая головой. — Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший всё утро ворчал: и в балагане холодно, и вода в котле чем-то воняет, и собаки ночью лаяли, — всем недоволен.

Пимка стоял с разинутым ртом и всё боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако всё прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене, вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так.

Все куренные сбились в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, всё это солдат наворожил! — говорил отец Пимки, почесывая в затылке. — Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит. — Так, баловство одно; а может и грешно... Ох, помирать, видно, пора!

Ровно через три года, немного пониже Шалайки, через Чусовую, железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У него теперь были и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив. Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки. Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил на курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зелёным флагом в руках, и, наконец, сказал:



— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здравия желаем!





## ВЕРТЕЛ

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем её убожеством, за исключением одного тёмного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зелёные грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская детвора.

В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была



баня, и до сих пор ещё чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка.

У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного назад голову, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской, Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иванович, вот что, — повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло в горле. — Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит, и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша, — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто... Небось, сам-то Алексей Иванович раз пять в день чаю напьётся. Дома два раза пьёт, а потом ещё в гости уйдет и там пьёт... И какой плут: обедает вместе с нами да ещё похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, ещё пообедает наособицу.

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова.

Зато подмастерье Спирька, молодой бойкий парень, щеголявший в красных кумачёвых рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей Иванович, — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. — Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал



барыне в проезжающих номерах. И ещё говорит: „Сам все работаю, своими руками...“

— И ещё какой плут, — соглашался Ермилыч. — В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину. Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправил ещё... Камень был отличный... Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил...

Четвёртый рабочий Лёвка, немой от рождения, не мог принимать участие в этих разговорах, и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иванович забегал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такую срочную работу и каждый раз ворчал.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал Лёвке „околотать“, то есть обколотить железным молотком так, чтобы можно было гранить. Это считалось чёрной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, околотывал Ермилыч сам. Околтанные Лёвкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно.

Игнатий уже клал фасетки (границы), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал.

В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раухтопазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь.



Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл „зубастыми“, потому что они тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем.

Старик относился к камням, как к чему-то живому и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень! Прямо сказать, враг наш, — ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудные зелёные зерна. — Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маята.

## II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припёке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь.

Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жил только от еды до еды, как маленький, голодный зверёк. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок „шейны“ (самый дешёвый сорт мяса от шеи) и вперёд предвкушал удовольствие поестъ шей с говядиной. Что может быть лучше таких шей, особенно, когда жир покрывает варено слоем чуть не в вершок, как от свинины... Хороша и шейна, если хозяйка не разбавит шей водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наесться досыта каждый день...

Прошка вертел колесо, закрыв глаза. Он часто так делал когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Ивановича. Это значило, что кто-то придет в мастерскую



барыне в проезжающих номерах. И ещё говорит: „Сам все работаю, своими руками...“

— И ещё какой плут,— соглашался Ермилыч.— В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину. Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправил ещё... Камень был отличный... Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил...

Четвёртый рабочий Лёвка, немой от рождения, не мог принимать участие в этих разговорах, и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иванович забегал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такую срочную работу и каждый раз ворчал.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал Лёвке „околотать“, то есть обколотить железным молотком так, чтобы можно было гранить. Это считалось чёрной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, околотывал Ермилыч сам. Околотанные Лёвкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно.

Игнатий уже клал фасетки (границы), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал.

В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раухтопазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь.



Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая ещё молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов.

Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки...

— Да, барышня, случается, — объяснил Ермилыч, — и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом последовательную обработку.

Прежде камней больше было, — объяснил он, — а теперь год от году всё меньше и меньше. Вот взять александрит, — его днём с огнём наищешься. А господа весьма его уважают, потому как днём он зелёный, а при огне красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, всё равно, как бывают люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра и чем хуже гранёные цветные стекла.

Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука, действительно, любопытная: такое большое колесо и вертится.

Мальчик незаметно пробрался в тёмный уголок к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?

— А от рук, — объяснил Прошка.

— Дай-ка, я сам поверчу...



Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть колесо...

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.

— Поработай-ка с моё, так не так ещё почернеешь.

— Володя, ты куда это забрался! — удивлялась дама. — Ещё ушибёшься...

— Мамочка, ужасно интересно... отдай меня в мастерскую, я тоже вертел бы колесо. Очень весело... Вот смотри. И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонок, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький, — пожалела она Прошку. — Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу, — объяснил Алексей Иваныч. — Круглый сирота, ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня. Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирают...

— Значит, ему трудно...

— Нет, зачем трудно. Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день.

— Обыкновенно.

— А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково, — уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов. — Глядя по работе... В другой раз часов с семи...

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково; в шесть часов, в семь, как случится.



Алексей Иванович приврал самым бессовестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье. Одеваю, обуваю, кормлю, всё себе в убыток. Так, из жалости держу сироту... Куда ему деться-то.

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами.

Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга.

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать...

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите.

— Помилуйте, сударыня. Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жаляю, сударыня...

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пришлите камни с этим мальчиком, — просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаю-с, сударыня.

Последнее желание не понравилось Алексею Ивановичу.

Эти барыни вечно что-нибудь придумают. К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принёс камни? Но делать нечего, — с барыней разве сговоришься. Прошка так Прошка, пусть его идет. Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила, — ворчал Ермилыч. — Точно от мыла пахнет.



— Она и Прошку надушит, — соображал Спирька.  
— А Алексей Иваныч охулки на руки не положил: рубликов на пять её околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Еремилыч. — У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинаялся он перед барыней: соловьём так и поёт.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько. Богатеющая барыня.

— Ну, это ещё неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка — „вёртел“.

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо, ну, и вышел вёртел. Не вертёл, мама, а вёртел...

### III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен с утра до ночи вертеть в своём углу колесо.

Сначала Прошка возненавидел своё колесо, потому что, не будь его, и не нужно бы было его вертеть. Это была совершенно детская мысль.

Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, к которому его отдала в ученье тётка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

„Когда я вырасту большой, — раздумывал Прошка за работой, — тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес“.

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса! Ах, как там хорошо! Трава зелёная-зелёная, сосны шумят вершинами, из земли сочатся ключики, всякая птица поёт по-своему —



умирать не нужно. Устроить из хвои шалашик, разложить огонёк, — и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колёса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

„Убегу! — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. — Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу“.

Прошка думал целые дни, вертит колесо своё и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то, что другим мастерам.

И Прошка всё время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли, точно живыми. Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина, — пошёл работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева одинаковы и что Алексей Иваныч делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вёртелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы, — они и заставляли Прошку вертеть колесо.

Тут уж воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове „господа“. Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись.

Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую, — и только всего. А вон барыня ещё детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел её и даже сказал:



— У, злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень—зелёные, злые, как у кошки ночью.

#### IV

Прошка умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы, а всё же продолжал работать. А колесо делалось всё тяжелее и тяжелее...

От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская.

По ночам он видел во сне целые груды драгоценных камней, розовых, зелёных, синих, желтых.

Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжёлое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слёг. Ему пристроили небольшую постельку тут же в мастерской.

Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

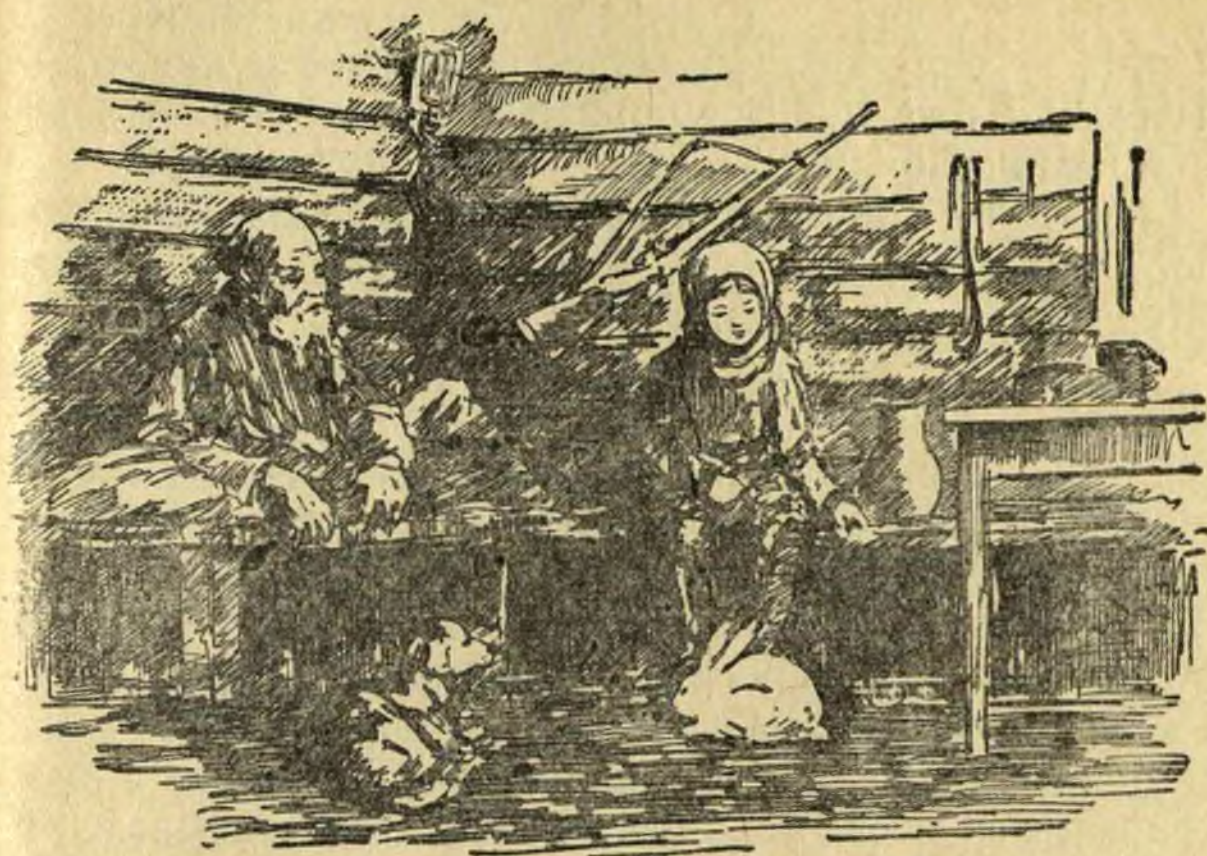
— Ты бы поел что-нибудь, Прошка. Экой ты какой...

Но Прошка ничего не хотел есть.

Через две недели его не стало...

---





## БОГАЧ И ЕРЁМКА

### I

— Ерёмка, сегодня будет пожива, — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Ерёмкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Ерёмы. Какой она была породы, — трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила: высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами.

Покойный охотник Ерёма не любил ее за то, что у неё одно ухо „торчало пнем“, а другое висело, и потом за то, что хвост у неё был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала ещё щенком и потом оказалась необыкновенно умной.



— Ну, твое счастье,— посмеивался Ерёма. — И шерсть у неё хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился... уж, видно вам на роду написано вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерёма до известной степени был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Ерёмкой.

Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками, и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылём. В молодости он был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и ещё кое-какая прибыль навёртывалась. Богач умел починять вёдра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плёл корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то называли ещё с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгралась. Несколько дней уже стояли морозы, а вчера оттепело, и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется порошей. Начинаящую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Ерёмка, будет нам сегодня с тобою пожива,— повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач, не торопясь, начал



одеваться. В такую погоду неприятно выходить из тёплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады, огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, с дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы.

— Как поглядеть, так один страх в ём, в зайце, — рассуждал Богач, продолжая одеваться. — А самый вредный зверь... Так, Ерёмка? И хитрый-прехитрый... А погода-то как разгулялась: так и метёт. Это ему, косому, самое первое удовольствие.

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок, на всякий случай, нож. Ерёмка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось итти из тёплой избушки на холод.

Сторожка стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окружённые хлебными кладами. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались и в самые клады, где было для них настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам лакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегам яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора,



не то, что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Ерёмка, издали чуявший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Ерёмка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоём Богач и Ерёмка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Ерёмка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Ерёмка, итти под гору, — говорил Богач смотревшей на него собаке. — Да под гору... А я на тебя погоню зайцев. Я вот пойду по загуменьям, да и шугну их на тебя. Понял? То-то...

Ерёмка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шёл под гору. А известно, что заяц тихо бежит в гору, а под гору в случае опасности скатывается кубарем. Ерёмка прятался под горой и ловил зайца именно в это время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач. — Ну ступай.

Ерёмка повилял хвостом и медленно пошёл к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погода-то, подумаешь! — ворчал Богач,



шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесённых снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла,— ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги.— В такую непогоду и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тётка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдёт промышлять себе пропитание. Он, хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошёл половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Ерёмка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Ерёмкой совестно: обмани его один раз, а в другой раз он и сам не пойдёт. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подождет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят. Хоть прощенья у него проси, — вот какой прегордый пес. А теперь он уже залёг под горкой и ждет зайцев.

Придя на гумна, Богач начал „гон“ зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!— торжествовал старик, продолжая свой обход.



И, удивительное дело, каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Ерёмкой, а всё та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле — и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норovit непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут ерёмкины зубы.

Богач обошёл гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Ерёмка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Ерёмка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!.. закричал Богач.

Ерёмка не двигался. Подбежав близко, Богач понял в чём дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Ерёмка!

## II

— Ну и оказия!— удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку. — Эк тебя угораздило, братец ты мой! А? И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, повидимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Ерёмка, что мы с ним делать-то будем? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся?



Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Ерёмка не взял зубом калеку, посовестился, так, ему, Богачу, подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, и только.

Ерёмка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать надо что-нибудь делать.

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Ерёмка: возьмём его к себе в избушку... Куда он хромой-то денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошёл в гору, Ерёмка шёл за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча...— ворчал старик...— Откроем с Ерёмкой заячий лазарет. Ах, ты, оказия!

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнтятам.

Ерёмка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай, — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, тогда и обнюхивай.

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены чёрной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу, — думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснял Богач. — Ужо завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.



— Ты у меня, Ерёмка, смотри, не пугай его, — уговаривал он собаку, грозя пальцем. — Пони-маешь: хворый он.

Ерёмка, вместо ответа, подошёл к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Ерёмка, значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здо-ровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он всё прислуши-вался, не крадется ли к зайцу Ерёмка. Хоть и ум-ный пес, а всё-таки пес, и полагаться на него нель-зя. Как раз сцапает.

„Ах ты, оказия, — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — Уж, кажется, достаточно нагядел-ся на зайцев. Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще, несмышлё-ныш“.

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками. Старик не утер-пел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах, ты, оказия! — ворчал старик, забираясь на тёплую печку.

Просыпался он по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своём уголке неподвижно, точно мёртвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот попробуй каши гречушной —



лапка-то и срастётся. Право, глупый... У меня кашу-то и Ерёмка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошёл в деревню.

— Ты у меня смотри, Ерёмка, — наказывал он Ерёмке. — Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай.

Пока старик ходил, Ерёмка не тронул зайца, а только съел у него всё угощение, — корочки чёрного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принёс в награду из своего угла старую обглоданную кость. Ерёмка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка.

Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка — когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли, так всё до тла поел.

— Ну, и лукавец! — удивлялся старик. — А я тебе гостинца принёс, косому плуту.

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репу и свёклу.

Ерёмка лежал на своём месте, как ни в чём не бывало; но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить.

— И не стыдно тебе, старому плуту... а? Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба!

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Ерёмка, тоже сумел угостить! Да не хитрый ли плутище?!

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью её съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет! Это, видно, не ерёмкина голая кость. Будет чваниться-то. Ну-ка, ещё репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.



— Да ты у меня совсем молодец! — хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замёрзла!

Богач отворил тяжёлую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок небольшую крынку молока и поставил её бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником. А ты, Ксюша, погрейся. Замёрзла?

— Студено...

— Давай, раздевайся. Гостья будешь. Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же.

— Неужто не видала?

— Как не видать. Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, с тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному, — в сарафан. Оно и удобно, и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка! Беленький весь, а только ушки точно оторочены чёрным.



— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бь-  
вают.

Девочка села около зайчика и погладила его по  
спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, де-  
душка?

— Сломана лапка, вот я и завязал её, чтобы все  
косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно.

— Дедушка, а заживёт лапка?

— Заживёт, ежели он будет смиренно лежать. Да  
он и лежит, не ворохнётся. Значит, умный!

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и всё  
название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые  
в поле бегают, а этот хроменький. Вон у нас кошку  
Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на  
Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду  
сказала.

— Ишь, ты, какая птаха...—думал он вслух.—И в  
самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то  
много... Ну, Ксюша, так как его мы назовём... а?

— Чёрное Ушко...

— Верно!.. Ах, ты, умница! Значит, ты ему бу-  
дешь в том роде, как крестная.

Весть о хромом зайце успела облететь всю де-  
ревню, и скоро около избушки Богача собралась  
целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика!—просили.

Богач даже рассердился. Всех пускать зараз нель-  
зя—не поместятся в избе, а по одному пускать —  
выступят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:



— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый. Вот поправится, тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

### III

Через две недели Чёрное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мёрзнуть, да голодать? Живи с нами, а весной — ступай себе в поле. Только нам с Ерёмкой не попадайся.

Ерёмка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери и, когда Чёрное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слёз над ними. Ерёмка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Чёрное Ушко начинает прыгать через него. Увлёкшись этой игрой, заяц иногда стучался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — По-ребячьи и плачет... Эй, ты, Чёрное Ухо, ежели тебе твоей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата.

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Ерёмка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увёртывался от него.

— Что, брат Ерёмка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому! Только лапы понапрасну отобьёшь.



Деревенские ребята частенько прибежали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свёклу или картошку. Чёрное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадёт к ней головой и быстро-быстро обгрызёт, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву? Не велика скотинка, а всё бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали „заячьей крестной“. Чёрное Ушко отлично её знал, сам бежал к ней и любил спать у неё на коленях. Но он же и отплатил ей самой чёрной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Чёрное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около её ног — и был таков. Ерёмка сообразил, в чём дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет. А ты, Ксюша, не реви. Пусть он побегает, а потом сам вернётся. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка.

— Так он и побежал тебе в деревню. Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придёт, когда есть захочет. А Ерёмка-то, глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!

„Заячья крестная“ всё-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут ещё Ерёмка вернулся домой — усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Бо-



гачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Чёрное Ушко не придёт? Ерёмка лёг у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Ерёмка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой, вернулся из гостей домой!

Это был, действительно, он, Чёрное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали?— говорил Богач, улыбаясь. — Ах, ты, бесстыдник, бесстыдник! И крестную свою до слез довел.

Ерёмка всё время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Чёрное Ушко съел всё, что было в чашке, Ерёмка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах, вы, озорники!— смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно.

Ксюша прибежала на другое утро чем-свет и долго целовала Чёрное Ушко.

— Ах, ты, бегун скверный!— журила она его. — Вперёд не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он всё понимает!

— Ещё бы не понимать, — согласился Богач, — не бойсь, вот как знает, где его кормят.

После этого случая за Чёрным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать.

Месяца через два Чёрное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нём начала



лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и весёлым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла. Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Чёрным Ушком.

Вечером Богач и Ерёмка уходили на охоту, крадучись, и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Ерёмка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а всё-таки оно того... может, и в ём своя заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосуллек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Всё кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Чёрное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому всё чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернётся домой, наестся и целый день спит в своём гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит.

Действительно, Чёрное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю — серую. Спинка



сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушёл, пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну а на проталинках и зелёную травку ущипнут. Вот ему и любопытно.

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него съедим.

Ерёмка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а всё-таки обидно. Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка. — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц, и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернётся сам. Вот увидишь. Одним словом, заяц.

Чёрное Ушко пришёл ещё раз, но к самой сторожке не подошёл, а сел пеньком и смотрит издали. Ерёмка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Чёрное Ушко не пошёл. Богач поманил его, но он оставался на своём месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь, сразу зазнался, косою.

#### IV

Прошла весна. Наступило лето. Чёрное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку. Кажется, не много дела и время найдётся.



Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца. Ерёмка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Чёрное Ушко не показывался.

— Придёт косою, — утешал Богач Ерёмку. — Вот погоди: как занесёт всё снегом, нечего будет есть, ну, и придёт. Верно тебе говорю.

Но выпал и первый снег, а Чёрное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это, в самом деле: уже нынче и зайцу нельзя верить, не то что людям!

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далёкий шум, а потом выстрелы. Ерёмка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть. Ишь, как запаливают! Ох, убьют они Чёрное Ушко! Непременно убьют!

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Ерёмка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют.

С горы было всё видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещётки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьёте моего зайца! Ой, батюшки!!



До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать: но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живёт...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Чёрное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы стреляем только своих.

— Ах, барин, барин! Нехорошо... Даже вот как нехорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Чёрного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил ещё Терентий. — Этак каждый начнёт разыскивать по лесу своего зайца.

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он всё откладывал. А вдруг в ловушку попадёт Чёрное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробежавший мимо заяц — Чёрное Ушко.

„Да ведь Ерёмка-то по запаху узнает его, на то он пес, — решил он. — Надо попробовать...“



Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Ерёмкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

Ступай, ступай, нечего лениться, — ворчал Богач. Он обошёл гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

„Ну, будет Ерёмке пожива“, — думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это выл Ерёмка, сидя под горой на своём месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чём дело: Ерёмка не мог различить зайцев. Каждый заяц ему казался Чёрным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Ерёмка, даром, что глупый пес. Верно, шабаш нам зайцев душишь. Будет.

Богач пошёл к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше, — коротко объяснил он.

---





## ПРИЁМЫШ

(Из рассказов старого охотника)

### I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть тёплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — тёплый. В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идёте по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбацкой



сайме<sup>1</sup> Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы; ещё немножечко, и покажется горячее летнее солнце.

Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озёрами, и сайма прикнулась в излучине на низком берегу, где в заливишке ютились рыбацьи лодки. Проток между озёрами образовался благодаря большому лесистому острову, разлётшемуся зелёной шапкой против саймы.

Моё появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса,— на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито-спрашивала: кто идёт?

Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась перевёрнутой вверх дном большой лодкой,— это горбилась старая деревянная крыша, проросшая весёлой зелёной травой. Кругом избушки росла густая поросль из иван-чая, шалфея и „медвежьих дудок“, так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги, и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пёстрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо ещё не верил в старое знакомство. Он осторожно подошёл, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом.

---

<sup>1</sup> Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки.



Дескать, виноват, ошибся,—а всё-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть.

Кругом избушки всё говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонёк, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В приотворенную дверь саймы виднелось всё хозяйство Тараса: ружьё на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой, во время рыбного лова, в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет; я говорю — около, потому что сам Тарас забыл, когда он родился. „Ещё до француза“, как объяснял он, то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболюк вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонёк, пустив кверху синюю струйку дыма.

Дождь уже прошёл. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще, хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. На-



право, где кончается проток, синела гладь Светлого озера, а за ней зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И не даром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь.

Хорошо на сайте!..

Весело горит яркий огонёк; начинает припекать горячее солнце; глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже начинала кипеть, а старика всё не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух. — Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса?.. Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых „промысловых“ собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу, с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы „облаять“ глухаря, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все её достоинства.

Когда этот „лучший друг человека“ радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке чёрной точкой показалась.



рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом,—настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодерёвках, называемых не без основания „душегубками“. Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка!—ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу.—Ступай, ступай... Вот я тебе дам... уплыть бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кри-вых чёрных ногах, направился к избушке.

## II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими, большими серыми глазами. Он всё лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда бог несёт?

— А вот за Приёмышем плавал, за лебедем... Всё тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал. Ну, я сейчас за ним. Выехал на озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А бог послал да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну, и поймал его. Пропадёт



один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ём ещё настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привёз и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, а потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждёт, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка, — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Соболькой веселей. Как-то один охотник забрёл ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: „Улетит, ежели крылья не подрежешь“. А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Соболькой? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Собольки и кусок отнимет. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывёт, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердечный. Так вот и живём втроём.



Я очень любил старика. Рассказывал он уж очень хорошо, и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом вёрст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя, а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу.

На лодке плавать легче, чем ходить с ружьём по лесу, а особенно по горам. Теперь ружьё оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Собольку. Только Собольку был хитёр и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и не даром оно названо светлым: вода в нём совершенно прозрачная, так что плывёшь на лодке и видишь всё дно на глубине нескольких сажен. Видны и пёстрые камушки, и жёлтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит „руном“, то есть стадом.

Таких горных озёр на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой.

От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило „в степь“, где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу вёрст.

Длиной озеро было до двадцати вёрст, да в ширину около десяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати. Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отбил на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную



погоду, рыбаки не раз голодали по несколько дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья, и дом, а теперь он жил бобылём. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка?— спросил я, когда мы возвратились с рыбной ловли.— Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь-князем живу. Всё у меня есть... И птица всякая, и рыбка, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю всё. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Собошкой. Ах, прокурат...

Старик ужасно был доволен своим Приёмышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснял он.— Помани его кормом да не дай— в другой раз и не подойдёт. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Собошкой тоже себя очень гордо держит. Чуть что— сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пёс в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорил старик на прощанье.— Тогда рыбу лучить будем с острогой. Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул.

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собошкой...



Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребёнок.

### III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на берёзах ещё оставался жёлтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега жёлтой щёткой. Мёртвая тишина царила кругом, точно природа, утомлённая летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжёлая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей её высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом ещё издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то, к первому снегу прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня всегда так бывает.

Старик, действительно, имел утомлённый вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал своё горе.



— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приёмыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица! А вот мы опять с Собошкой остались одни... Да, не стало Приёмыша!..

— Убили охотники?

— Нет, сам ушёл... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не возился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шёл. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Учёная птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки грех вышел. На перелёте стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я люблюсь. Пусть божья птица с силой соберётся: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приёмыш сначала сторонился от других лебедей; подплывёт к ним, и назад. Те гогочут, по-своему зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Всё, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приёмыш затосковал... Вот всё равно, как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Собошко, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: „Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в тёплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?“ Ах, ты, думаю, какая задача. Пустить — улетит за стадом и пропадёт...



— Почему пропадёт?

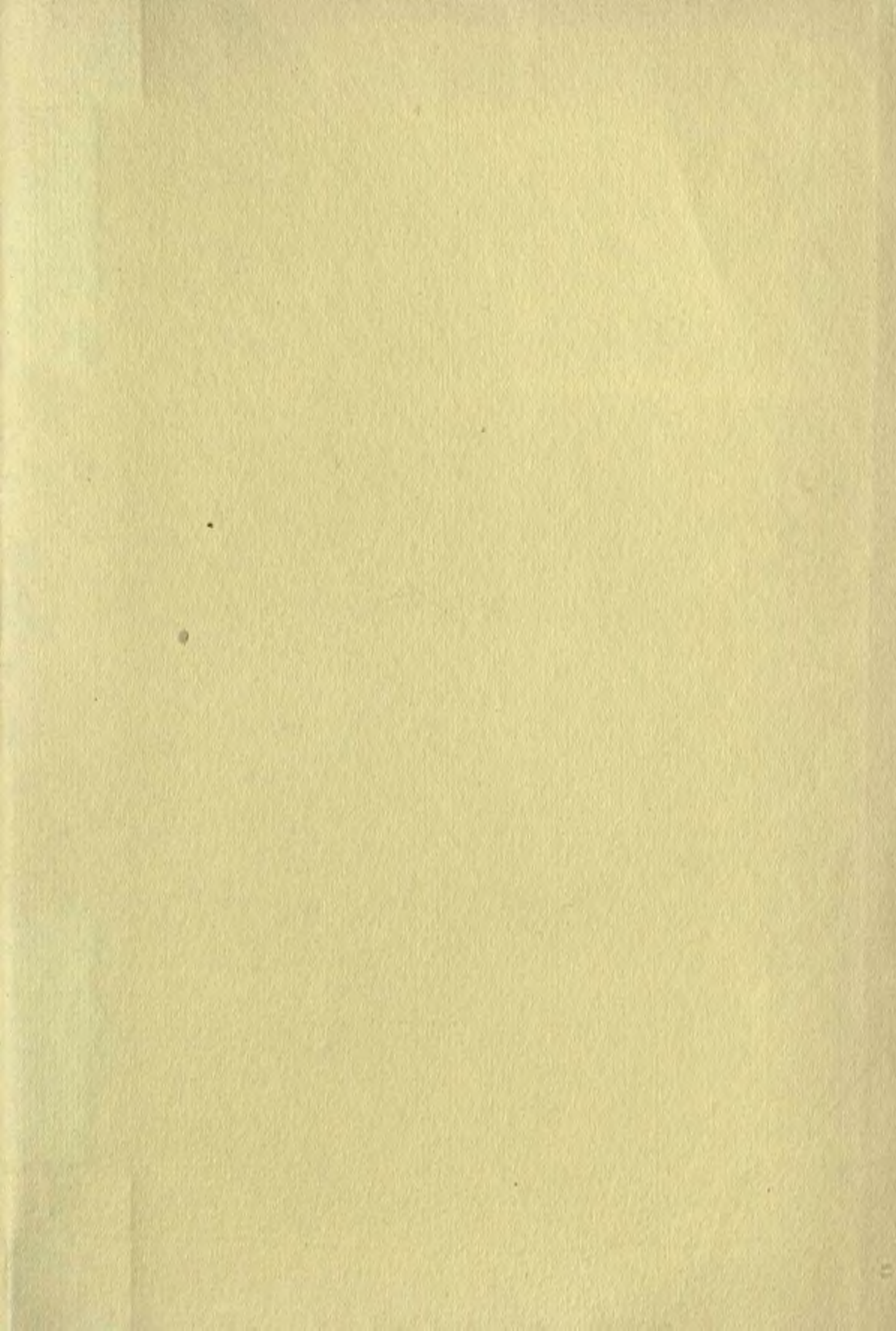
— А как же?.. Те-то на полной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исполдволь учат: всё дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелёту. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приёмыш один вырос и почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадёт. Не привычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Всё равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже хоть и птица, а тяжело со своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажень на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать, „спасибо, дедушка, за хлеб, за соль!..“ Только я его и видел. Остались мы опять с Собошкой одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: „Собошко, а где наш Приёмыш?“ А Собошко сейчас выть. Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам всё грезилось, что Приёмыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет...

Вот какое дело вышло, барин.



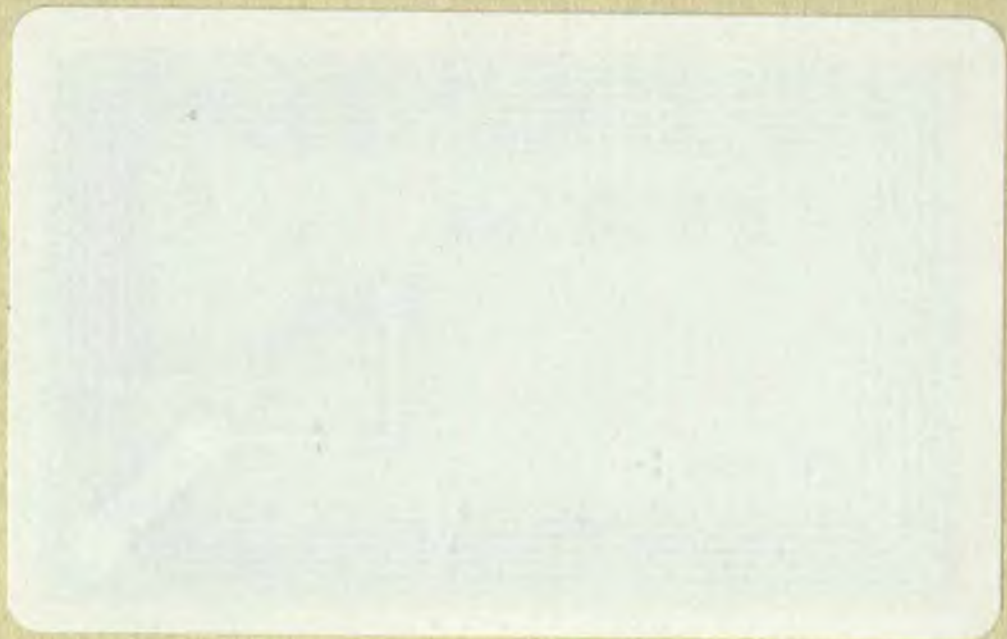








rep. 1-90





Цена по номиналу 1952 г.  
1 руб. 25 коп.